Свет в августе

Автор:
Уильям Фолкнер

Свет в августе

Уильям Катберт Фолкнер

Йокнапатофская сага

Американский Юг – во всей его болезненной, трагической и причудливой прелести. В романе «Свет в августе» кипят опасные и разрушительные страсти, хранятся мрачные семейные секреты, процветают расизм и жестокость, а любовь и ненависть достигают поистине античного масштаба…

Уильям Фолкнер

Свет в августе

William Faulkner

LIGHT IN AUGUST

© William Faulkner, 1932

© Перевод. В. Голышев, 2009

© ООО Издательство «АСТ МОСКВА», 2009

* * *

1

Сидя у дороги, глядя, как поднимается к ней по косогору повозка, Лина думает: «Я пришла из Алабамы; путь далекий. Пешком из самой Алабамы. Путь далекий». Думает меньше месяца в пути, а уже в Миссисипи, так далеко от дома еще не бывала. И от Доуновой лесопилки так далеко не бывала с двенадцати лет

Она и на Доуновой лесопилке не бывала, пока не умерли отец с матерью, хотя раз по шесть, по восемь в году, по субботам, ездила в город – на повозке, в платье, выписанном по почте, босые ноги поставив на дно, туфли, завернутые в бумагу, положив рядом с собой под сиденье. В туфли обувалась перед самым городом. А когда подросла, просила отца остановить повозку на окраине, слезала и шла пешком. Отцу не говорила, почему хочет идти, а не ехать. Он думал – потому что улицы гладкие, тротуары. А Лина думала, что, если она идет пешком, люди принимают ее за городскую.

Отец с матерью умерли, когда ей было двенадцать, – в одно лето, в рубленом доме из трех комнат и передней, без сеток на окнах, в комнате, где вокруг керосиновой лампы вилась мошкара, а пол был вылощен босыми пятками, как старое серебро. Она была младшей из детей, оставшихся в живых. Мать умерла первой. Она сказала: «За папой ухаживай». Лина ухаживала. Однажды отец сказал: «Поедешь на Доунову лесопилку с Мак-Кинли. Собирайся, чтобы к его приезду была готова». И умер. Мак-Кинли, ее брат, приехал на повозке. Отца похоронили днем, в роще за деревенской церковью, и поставили сосновое надгробье. Утром она уехала навсегда – хотя, может быть, и не понимала этого – на повозке, с Мак-Кинли, на Доунову лесопилку. Повозка была чужая, брат обещал вернуть ее к ночи.

Брат работал на лесопилке. Все мужчины в деревне работали на лесопилке или при ней. Резали сосну. Резали уже семь лет и еще через семь должны были извести весь окрестный лес. Тогда часть оборудования и большинство людей, работавших на нем и существовавших благодаря ему и для него, погрузятся в товарные вагоны и уедут. Но часть оборудования останется – потому что новое всегда можно купить в рассрочку, – и уныло застывшие колеса, поражая взор,

будут торчать над курганами битого кирпича и жестким бурьяном, и выпотрошенные котлы упрямо, смущенно, озадаченно будут топорщить свои ржавые бездымные трубы над пнистой панорамой немой и мирной пустоши, непаханой, необороненой, в красных язвах буераков, прорытых тихими мокрыми дождями осени и бешеными косохлестами весенних равноденствий. И тогда иссосанные глистами самозваные наследники, растаскивая дома и сжигая их в плитах и очагах, не вспомнят самого названия деревни, которая и в лучшие дни не значилась в анналах почтового ведомства.

Когда приехала Лина, в деревне оставалось семей пять. Была там железнодорожная колея и станция, и раз в день товаропассажирский с воплем проносился мимо. Поезд можно было остановить красным флагом, но обычно он возникал из разоренных холмов внезапно, как привидение, и, лешим взвыв, – мимо недодеревеньки, стороной, как мимо потерянной бусины, когда порвалась нитка. Брат был двадцатью годами ее старше. Когда он забирал ее к себе, она его почти не помнила. Он жил в четырехкомнатном некрашеном доме с женой, изношенной от труда и родов. Чуть ли не по полгода в году невестка Лины либо ходила на сносях, либо оправлялась после родов. В это время Лина делала всю работу по дому и смотрела за другими детьми. После она говорила себе: «Потому, видно, и сама так быстро обзавелась».

Спала в пристройке, в задней части дома. Там было окно, которое она научилась бесшумно отворять в темноте – потому что в пристройке спали, кроме нее, сперва старший племянник, потом двое старших, потом трое. Впервые открыла окно на девятом году своей жизни у брата. Она и открыть-то его успела всего раз десять, когда обнаружила, что его вообще не следовало открывать. Сказала себе: «Такое, видно, мое счастье».

Невестка сказала брату. Тут только он заметил, что она округлилась, а мог бы заметить и раньше. Он был суровый человек. Добродушие, мягкость, молодость (а было ему сорок только) и почти все остальное, кроме упрямой, безнадежной стойкости да угрюмой родовой гордости, вышло из него с потом. Он обозвал ее проституткой. Он угадал виновника (молодых холостяков, – а опилочных донжуанов и подавно, – насчитывалось еще меньше, чем семей в деревне), но она не признавалась, хотя виновник отбыл полгода назад. Она твердила только: «Он меня вызовет. Он сказал, что вызовет меня», – непоколебимо, по-овечьи, черпая из тех запасов терпеливой прочной верности, на которые рассчитывает каждый Лукас Берч – не имея, впрочем, намерения оказаться под рукой, когда в этом будет нужда. Двумя неделями позже она снова

выбралась через окно. Теперь это далось нелегко. «Было бы раньше так трудно, небось бы теперь не пришлось вылезать», – подумала она. Она могла бы уйти через дверь, днем. Никто бы ее не удерживал. Может быть, она это понимала. Но предпочла – ночью, через окно. С ней был веер из пальмовых листьев и другие пожитки, аккуратно увязанные в платок. В узелке лежали, среди прочего, тридцать пять центов – пяти- и десятицентовыми монетами. Башмаки на ней были братнины – его подарок. Поношены самую малость – никто из них летом башмаков не носил. Почувствовав под ногами дорожную пыль, она сняла башмаки и понесла в руках.

Так шла она вот уже почти месяц. Четыре недели пути и в сознании отпечатавшееся далёко – как мирный коридор, вымощенный крепкой, спокойной верой, населенный добрыми безымянными лицами и голосами: Лукас Берч? Не знаю. Чтоб где-нибудь поблизости такой жил – не слыхал. Дорога эта? В Покахонтас. Может, он там. Может быть. Вон повозка в ту сторону. До места – не до места, а всё подвезет – и вот разматывается позади длинная однообразная череда мирных и неукоснительных смен дня и тьмы, тьмы и дня, сквозь которые она тащилась в одинаковых, неведомо чьих повозках, словно сквозь череду скрипоколесных вялоухих аватар: вечное движение без продвижения на боку греческой вазы.

Повозка поднимается к ней по косогору. Лина миновала ее милю назад. Повозка стояла у дороги, мулы спали в постромках, головой в ту сторону, куда шла она. Лина увидела повозку, увидела за забором у сарая двух мужчин на корточках. Только раз взглянула на повозку и мужчин, один лишь взгляд кинула – емкий, быстрый, простодушный и проницательный. Она не остановилась, скорей всего мужчины за забором даже не заметили, как она взглянула на них и на повозку. Она не оглядывалась. И, скрывшись из виду, продолжала идти, ступая медленно в расшнурованных башмаках, пока не взошла на пригорок в миле от них. Там она села на краю неглубокой канавы, свесила ноги, сняла башмаки. Немного погодя услышала повозку. Сперва ее было слышно. Потом стало видно, как она поднимается по косогору.

Лениво и сухо скрипит и громыхает немазаное, рассохшееся дерево и металл: трескучие оглушительные раскаты разносятся за полмили над знойной мореной одурью и безмолвием августовского дня. Мулы плетутся мерно, в глубоком забытьи, но повозка словно не движется с места. До того ничтожно ее перемещение, что кажется, она замерла навеки, подвешена на полпути – невзрачной бусиной на рыжей шелковине дороги. До того, что устремленный

на нее взгляд не может удержать ее образа, и зримое дремотно плывет, сливается, как сама дорога с ее мирным однообразным чередованием дня и тьмы, как нить, уже отмеренная и вновь наматываемая на катушку. До того, наконец, что кажется, будто этот вялый оглушительный звук ничего собой не означает и доносится из какого-то пустячного, ерундового места, отдаленного больше чем расстоянием: морок, блуждающий в полумиле от собственных очертаний. «Так далеко слыхать, когда самой еще не видать», – думает Лина. Думает о себе так, словно опять едет – думает все равно как ехала полмили до того, как влезла в повозку – до того, как повозка подъехала к месту, где я ждала, а потом, когда слезу с повозки, она полмили все равно как со мной будет ехать. Ждет, уже не следя за повозкой, а мысль течет досуже, быстро, плавно, полная безымянных добрых лиц и голосов: Лукас Берч? Спрашивала, говоришь, в Покахонтасе? Эта дорога? В Спрингвейл. Обожди тут. Скоро повозка будет в ту сторону, докуда едет – подвезет. Думает: «А если он до самого Джефферсона едет, Лукас меня услышит прежде, чем увидит. Повозку услышит, а не догадается. Так что одну услышит прежде, чем увидит. А потом увидит меня и разволнуется. И двоих увидит прежде, чем вспомнит».

Сидя на корточках в тени конюшни Уинтерботома, Армстид и Уинтерботом видели, как она прошла по дороге. Они сразу увидели, что она молодая, беременная и нездешняя.

– Интересно, откуда это у ней живот, – сказал Уинтерботом.

– Интересно, издалека ли она его несет, – сказал Армстид.

– Видать, навещала кого-то в той стороне, – сказал Уинтерботом.

– Да нет, видать. А то бы я слышал. И там, в моей стороне, никого у ней нет. Тоже слышал бы.

– Видать, не просто так гуляет, – сказал Уинтерботом. – Не такая у ней походка.

– Не долго ей одной гулять, будет ей попутчик, – сказал Армстид. Женщина уже удалялась – медленно, со своей набрякшей очевидной ношей. Она словно бы даже не взглянула на них, когда проходила мимо – в выгоревшем синем балахоне, с пальмовым веером и узелком в руках. – Не из ближних мест идет, –

сказал Армстид. – Ишь как потопывает – верно, порядком отшагала и еще шагать да шагать.

– Видать, навещала кого-то в наших краях, – сказал Уинтерботом.

– Да нет, пожалуй. Я бы слышал, – сказал Армстид. Женщина шла. Не оглядывалась. И медленно ушла из виду – налитая, обстоятельная, неутомимая, как сам набирающий силу день. Ушла и из их беседы, и, может быть, даже – из их сознания. Ибо, чуть подождав, Армстид сказал то, что надумал сказать. Он уже дважды заявлялся сюда – приезжал за пять миль на повозке и с бесконечной неторопливостью и уклончивостью своего племени по три часа сидел на корточках в тени сарая и поплевывал – для того чтобы сказать это. Предложить Уинтерботому цену за культиватор, который Уинтерботом хотел продать. И вот Армстид посмотрел на солнце и предложил цену, которую предложить задумал, лежа в постели три дня назад. – Я знаю одного в Джефферсоне, который отдаст за такую цену, – сказал он.

– Так ведь брать надо, – сказал Уинтерботом. – Дешевка-то какая.

– Ну да, – сказал Армстид. Сплюнул. Снова посмотрел на солнце и встал. – Да-а, видать, домой пора собираться.

Он влез в повозку и разбудил мулов. Вернее, привел их в движение – потому что только негр поймет, спит мул или проснулся. Уинтерботом дошел с ним до забора и облокотился на верхнюю слегу.

– Да, брат, – сказал он. – За такие деньги я сам бы взял. А ты не возьмешь – провалиться мне, коли я сам его не куплю за такую цену. А не хочет ли тот хозяин пару мулов своих отдать за пятерку? Нет?

– Ну да, – говорит Армстид. Он правит; повозка предалась уже ленивому, перемалывающему мили громыханию. Он тоже не оглядывается. Но и вперед, должно быть, не смотрит – потому что женщины, сидящей в канаве у дороги, не видит до тех пор, пока повозка не вползает почти на самый верх. В тот миг, когда он узнаёт синее платье, он не может понять, заметила ли она вообще повозку, и уж совсем никому не понять, взглянул ли он сам на нее хоть раз, когда без малейших признаков перемещения они медленно приближались друг к другу по мере того, как оглушительно вползала на косогор повозка в ауре

тягучей, осязаемой дремы и рыжей пыли, по которой лунатически мерно ступали мулы, изредка позвякивая сбруей, вяло прядая заячьими ушами – и по-прежнему ни спят ни бодрствуют, когда он наконец натягивает вожжи.

Из-под блекло-синего чепца, полинявшего не от воды и мыла, она смотрит спокойно и любезно – молодая, миловидная, бесхитростная, доброжелательная и живая. Она еще не шевельнулась. Под балахоном того же блекло-синего цвета тело ее грузно и неподвижно. Веер и узелок лежат на коленях. Она без чулок. Босые ступни на дне канавы – сдвинуты. Жизни в них ничуть не больше, чем в тяжелых, пыльных мужских башмаках, которые стоят рядом. В замершей повозке сидит Армстид, сутулый, с выцветшими глазами. Он видит, что кромка веера обшита тем же блекло-синим, что на чепце и платье.

– Далеко ли идешь? – спрашивает он.

– Да вот, хотела засветло еще малость пройти, – отвечает она. Она встает и поднимает башмаки. Медленно и неторопливо выбирается на дорогу, идет к повозке. Армстид не спускается на землю, чтобы помочь. Только удерживает мулов, пока она грузно перелезает через колесо и кладет башмаки под сиденье. Повозка трогается.

– Спасибо вам, – говорит она. – Уморилась – на ногах-то.

Кажется, Армстид и не посмотрел на нее ни разу открыто. Однако он уже заметил, что обручального кольца у нее нет. Теперь он на нее не смотрит. Повозка снова предается ленивому громыханию.

– Издалека ли идешь? – спрашивает он.

Она переводит дух. Это даже не вздох, а спокойный выдох – как бы спокойного изумления.

– А и впрямь конец немалый. Я иду из Алабамы.

– Из Алабамы? С этакой тяжестью? Где же семья твоя?

Она тоже на него не смотрит.

– Думаю встретить его где-нибудь там. Может, вы его знаете. Зовут его Лукас Берч. Тут по дороге говорили, в Джефферсоне он, на строгальной фабрике работает.

– Лукас Берч. – Армстид произносит имя почти тем же тоном. Они сидят рядышком на продавленном сиденье со сломанными пружинами. Ему видны ее руки, сложенные на коленях, и профиль под чепцом; он видит их краем глаза. Она, должно быть, следит за проселком, стелющимся между вялыми ушами мулов. – И ты всю дорогу сама, пешком прошла, за ним охотясь?

Она отвечает не сразу. Наконец говорит:

– Люди все добрые попадались. Такие добрые люди.

– И бабы, что ли? – Украдкой смотрит на ее профиль и думает не знаю, что Марта скажет думает: «Пожалуй, знаю, что Марта скажет. Бабы, они не так чтобы очень добрые, а скорей хорошие. Мужчина – он может быть. А баба – только плохая добра будет к другой бабе, которая в доброте нуждается», думает Как же. Знаю, знаю я, что Марта скажет

Она сидит на краешке неподвижно; профиль неподвижен, щека.

– Прямо удивительно, – говорит она.

– Что идет по дороге незнакомая девушка, в положении, – и люди догадываются, что муж ее бросил? – Она не шевелится. Теперь повозка подчинена какому-то ритму, ее немазаное замученное дерево сжилось с ленивым днем, дорогой, зноем. – И собираешься его тут найти.

Она не шевелится – наверно, следит за медленным бегом дороги между ушами мулов; даль, должно быть, дорогой прорезана, резка.

– Думаю, что найду. Дело немудреное. Он будет там, где больше всего народу собирается, где смеются и балагурят. Он всегда был до этого охотник.

Армстид крякнул – грубо, со злобой.

– Но-о, заснули там! – говорит он, и себе говорит – уже подумав, еще не произнося: «Найдет ведь. Спохватится парень, что маху дал, когда остановился по эту сторону от Арканзаса – или Техаса, для надежности».

Солнце клонится к западу, час ему до горизонта, до коротких летних сумерек – час. Они на развилке; в сторону отходит дорожка еще тише и глуше этой.

– Приехали, – говорит Армстид.

Женщина сразу оживает. Она наклоняется и подбирает башмаки – видимо, не хочет даже надевать их в повозке, чтобы его не задерживать.

– Большое вам спасибо, что подвезли, – говорит она.

Повозка снова остановилась. Женщина готовится слезть.

– Если и доберешься к закату до лавки Варнера, все равно оттуда еще двенадцать миль до Джефферсона, – говорит Армстид.

Она с трудом удерживает башмаки, узелок и веер в одной руке, чтобы опереться другой, когда будет слезать.

– Пойду-ка я, пожалуй, – говорит она.

Армстид к ней не прикасается.

– Поехали, заночуешь у меня, – говорит он, – там хоть бабы… женщина тебе… если что. С утра первым делом отвезу тебя к Варнеру, а там, глядишь, кто-нибудь тебя прихватит. В субботу всегда кто-нибудь в город едет. Не убежит он от тебя за ночь-то. Коли есть он в Джефферсоне, так и завтра там будет.

Она сидит не шевелясь, все пожитки – в одной руке, чтобы удобнее было слезать. Смотрит вперед, куда убегает змейкой дорога, разлинованная косыми тенями.

– Несколько дней у меня еще есть, пожалуй.

– Ну да. Времени у тебя вдоволь. Только попутчик у тебя появится с часу на час – который ходить не умеет. Поехали ко мне. – Он пускает мулов, не дожидаясь ответа. Повозка сворачивает на малоезжую дорогу. Женщина опускается на сиденье, но по-прежнему держит веер, узелок, башмаки.

– Я не обременю, – говорит она. – Хлопот со мной не будет.

– Ну да, – говорит Армстид. – Поехали со мной. – Впервые мулы идут резво по своей воле. – Корм почуяли, – говорит Армстид, размышляя: «Вот они, бабы. Сама же первая дорогу перебежит своей сестре, а сама гуляет по общественной земле, одна, без всякого стеснения, потому что знает – люди, мужики, ее пожалеют. До баб ей дела нет. Небось не баба ей вчинила – это, чего она и хлопотами не желает назвать. Да, их сестре дай только замуж выйти или так, без мужа, схлопотать – и сей же час из бабьего роду и племени она выходит и до самой смерти старается к мужскому роду примкнуть. Через это и к табаку их тянет, курить либо нюхать, через это и голосовать им подавай».

Когда повозка проезжает мимо дома к сараю, его жена наблюдает за ними из передней двери. Он в ее сторону не смотрит: и так знает, что должна там стоять, что стоит. «Да, – думает он с язвительной иронией, заворачивая мулов в распахнутые ворота, – знаю, знаю я, что она скажет. Мудрено не знать». Он останавливает мулов; ему не надо оглядываться – и так знает, что жена уже на кухне, уже не наблюдает за ними, просто ждет. Он останавливает мулов.

– Ступай в дом, – говорит он; он уже на земле, а женщина слезает, медленно и все так же вдумчиво, прислушиваясь к чему-то в себе. – Ежели встретишь кого – это Марта. Я скотину накормлю и приду. – Он не смотрит, как она идет через двор к кухне. Ему незачем смотреть. Шаг за шагом вместе с ней он подходит к кухонной двери и наталкивается на взгляд женщины, которая смотрит на кухонную дверь точно так же, как смотрела на повозку из передней двери. «Знаю, знаю я, что она скажет», – думает он.

Он распрягает мулов, поит их, ставит в стойла, задает корму, впускает с выгона коров. Потом идет на кухню. Она еще тут – седая женщина с неприветливым, суровым, раздраженным лицом, за шесть лет родившая пятерых детей и воспитавшая из них мужчин и женщин. Она занята делом. Он на нее не смотрит. Подходит к раковине, наливает из ведра в таз и закатывает рукава.

– Ее фамилия Берч, – говорит он. – То есть так якобы парня зовут, которого она ищет. Лукас Берч. По дороге ей говорили, будто он теперь в Джефферсоне. – Он начинает мыться, к ней спиной. – Пришла из самой Алабамы, говорит, – одна и пешим ходом.

Хозяйка не оглядывается. Она возится у стола.

– Недолго ей так ходить – в Алабаму свою с прибавлением явится, – говорит она.

– Да небось и к парню этому, к Берчу. – Армстид возится у раковины – очень занят водой и мылом. Он чувствует ее взгляд на себе – на затылке, на спине, сквозь вылинявшую от пота голубую рубашку. – У Самсона ей говорили, будто парень по фамилии Берч, или наподобие того, работает на строгальной фабрике в Джефферсоне.

– И она надеется его там найти. Ждет ее не дождется. И дом уж, поди, обставил.

Он не может понять по ее голосу, смотрит она на него или отвернулась.
Он вытирается распоротым мешком.

– Может, и найдет. Ежели он сбежать от нее думал – ох и спохватится парень, что оплошал, когда не оставил промеж себя и ее Миссисипи. – А теперь он знает, что она глядит на него: седая, не толстая и не тощая, закаленная, как мужчина, закаленная работой, в прочном сером платье, носимом без жалости и заботы, – руки уперты в бока, лицо – как у генералов, разбитых в бою.

– Эх, мужики.

– Что с ней прикажешь делать? Прогнать? Или в сарае положить?

– Мужики, – говорит она. – Мужики проклятые.

Они входят на кухню, миссис Армстид – первой. Она идет прямо к плите. Лина останавливается возле двери. Голова ее теперь непокрыта, волосы гладко зачесаны. Даже синий балахон на ней как будто посвежел и отдохнул.
Она смотрит на хозяйку – та гремит чугунными конфорками и ожесточенно,

с маху, по-мужски набивает дровами топку.

– Можно, я помогу? – говорит Лина.

Миссис Армстид не оборачивается. Она свирепо хлопает дверцей.

– Сиди уж. Ногам дай отдых – глядишь, и спина отдохнет.

– Я буду вам очень благодарна, если вы позволите помочь.

– Сиди уж. Тридцать лет затапливаю, по три раза на дню. Прошло то время, когда мне помощь требовалась. – Она хлопочет у плиты, не оглядывается. – Армстид говорит, твоя фамилия Берч?

– Да, – отвечает Лина. Тон у нее очень степенный, голос очень тихий. Она сидит не шевелясь, руки на коленях неподвижны. Миссис Армстид на нее не оглядывается. Она еще занята у плиты. Внимание, которого требует печь, не вяжется с той ожесточенной решительностью, с которой ее разжигали. Внимание к ней такое, словно это дорогие часы, а не печь.

– Стало быть, твоя фамилия уже Берч? – спрашивает миссис Армстид.

Молодая отвечает не сразу. Миссис Армстид уже не гремит у печки, хотя по-прежнему стоит спиной к Лине. Наконец она оборачивается. Они глядят друг на друга без утайки, наблюдают друг друга: молодая – на стуле, причесана гладко, руки на коленях неподвижны; старшая – тоже замерла, отвернувшись от плиты, седые волосы безжалостно скручены на затылке, лицо словно вытесано из песчаника. Наконец молодая говорит:

– Я вам сказала неправду. Моя фамилия еще не Берч. Меня зовут Лина Гроув.

Они глядят друг на друга. Голос хозяйки ни холоден, ни ласков. Он не выражает ничего.

– Стало быть, хочешь догнать его, чтобы твоя фамилия вовремя сделалась Берч. Так, что ли?

Лина смотрит вниз, словно разглядывая свои руки на коленях. В ее тихом голосе – упорство. Но и безмятежность.

– Мне ведь от Лукаса обещаний не нужно. Так уж вышло нескладно, что ему пришлось уехать. А приехать за мной, как он задумал, – видно, не получилось. А слово друг другу давать – нам незачем. Той ночью, когда узнал он, что должен ехать, он…

– Какой же это ночью он узнал? Когда ты ему про ребенка сказала?

Молодая отвечает не сразу. Лицо у нее невозмутимо, как камень, но без жесткости. В ее упорстве – что-то мягкое, оно освещено изнутри тихим, бездумным покоем, отрешенностью. Миссис Армстид наблюдает за ней. Лина начинает рассказывать, не глядя на хозяйку:

– Он еще задолго до этого узнал, что ему, наверно, придется уволиться. Только мне не говорил, потому что не хотел огорчать. А когда он в первый раз услыхал, что ему, наверно, придется уволиться, он понял, что лучше уехать, – может, на новом месте мастер не будет к нему цепляться и ему будет легче продвинуться. Но все откладывал. А когда уж это самое случилось, откладывать стало нельзя. А мастер к Лукасу цеплялся, невзлюбил его, потому что Лукас молодой и никогда не унывает, а мастер хотел устроить на его место своего родственника. А он от меня скрывал, не хотел огорчать. А уж когда это самое случилось, нам больше нельзя было ждать. Я ему сама велела ехать. Он сказал, я останусь, если скажешь, пускай его придирается. А я ему сказала – ехай. А он все равно не хотел ехать, даже после этого. А я сказала – ехай. Только весточку пришли, когда сможешь меня принять. Да вот не получилось у него вызвать меня вовремя, как он хотел. Ведь на новом месте устроиться, среди чужих – молодому время нужно. Он-то этого не знал, когда уезжал, не знал, что устроиться – больше времени нужно, чем он думал. А в особенности – парню вроде Лукаса, если он такой живой и компанию любит и повеселиться, и ему в компании тоже рады. Не знал, что у него больше времени уйдет, чем он думал, – и сам молодой, и люди льнут к нему, потому что охотник посмеяться и побалагурить, от работы отвлекают, а ему невдомек, ему людей обижать неохота. Да и я хотела, чтобы он погулял напоследок – ведь для парня молодого, веселого женатая жизнь – не то что для женщины: для парня молодого, веселого она ох как долго тянется. Неправильно я говорю?

Миссис Армстид не отвечает. Она разглядывает сидящую на стуле женщину, ее гладкую прическу, неподвижные руки на коленях, кроткое задумчивое лицо.

– Он уж, верно, послал мне весточку, только она по дороге потерялась. Отсюда до Алабамы – и то путь неблизкий, а ведь до Джефферсона – еще идти. Я ему сказала, что письма от него не жду – письма-то писать он не мастер. «Ты мне устным словом, – говорю, – передай, когда принять меня сможешь. Я буду ждать». Сперва, конечно, – как он уехал, – я немного волновалась, что фамилия моя еще не Берч, а брат со своей семьей не так хорошо знают Лукаса, как я. Откуда им знать? – На лице ее медленно появляется кроткое и радостное удивление – как будто в голову ей пришел ответ на вопрос, о самом существовании которого она до сих пор не подозревала. – Ну, правда, откуда было знать? А ему сперва надо было устроиться, вся трудность-то на него легла – среди чужих жить, а у меня забот никаких – только ждать, покуда он со всеми заботами и трудностями сладит. А уж после – надо было о ребенке думать, а не о фамилии своей, да о том, что люди скажут. А слово друг другу давать – нам с Лукасом незачем. Там какая-то неожиданность случилась, или, может, он послал мне весточку, а она потерялась по дороге. Так что решила я двигаться и больше не ждать.

– Откуда же ты знала, в какую сторону идти, когда в путь пустилась?

Лина рассматривает свои руки. Теперь они движутся – сосредоточенно собирают подол в складки. Робости, смущения в этом нет. Кажется, что это – непроизвольное движение самой задумчивой руки.

– А спрашивала. Лукас – парень молодой, веселый, с людьми сходится легко и скоро – я и думаю, где он побывал, там люди его запомнят. Ну, и спрашивала. Люди очень хорошо относились. И правда, третьего дня мне сказали на дороге, что он в Джефферсоне, работает на строгальной фабрике.

Миссис Армстид разглядывает склоненное лицо. Она подбоченилась и наблюдает за молодой бесстрастно, с холодным презрением.

– Думаешь, он там будет, когда ты явишься? Это если он вообще там был. Услышит, что ты с ним в одном городе, и до вечера там усидит?

Потупленное лицо Лины спокойно, серьезно. Ее рука остановилась. Теперь она лежит на коленях спокойно, словно умерла там. Голос звучит ровно, невозмутимо, упрямо.

– Я думаю, семья должна быть вместе, когда рождается ребенок. В особенности – первый. Я думаю, Господь об этом позаботится.

– Да уж, вижу, без Него не обойтись, – грубо, в сердцах произносит миссис Армстид. Армстид лежит в постели, подперев голову, и смотрит поверх изножья, как она, еще одетая, склоняется под лампой к комоду и остервенело роется в ящике. Она достает металлическую шкатулку, отпирает висящим на груди ключом, вынимает оттуда полотняный мешочек, открывает его и вытаскивает фарфорового петуха со щелью в спине. Когда она опрокидывает и яростно трясет его над крышкой комода, в нем брякают монеты и редко, нехотя выскакивают по одной из щели. Армстид наблюдает за ней с кровати.

– Ты что это надумала делать с яичными деньгами на ночь глядя?

– Мои деньги – что хочу, то и делаю. – Она наклоняется к свету, лицо у нее сердитое, злое. – Небось я их растила, мучилась. Ты и пальцем не шевельнул, видит Бог.

– Ну да, – говорит он. – Не сыщется в стране у нас человека, чтобы кур у тебя оспорил – вот опоссум разве да змея. И банк твой петушачий, – добавляет он. Потому что, нагнувшись внезапно, она срывает с ноги туфлю и одним ударом разносит копилку вдребезги. С кровати, рукой подпершись, наблюдает Армстид, как она выбирает из осколков последние монеты и кидает их с остальными в мешочек и с яростной решимостью завязывает его и перевязывает – узлом, тремя, четырьмя.

– Ей отдашь, – говорит она. – Как солнце встанет, запрягай и вези ее отсюда. Вези хоть до самого Джефферсона, если не лень.

– Пожалуй, от лавки Варнера ее и без меня подвезут, – отвечает он.

Миссис Армстид поднялась до зари и приготовила завтрак. Когда Армстид вернулся с дойки, стол был накрыт.

– Поди скажи ей, чтобы есть шла, – велела миссис Армстид.

Когда он привел Лину, хозяйки на кухне не было. Замявшись на пороге – да почти и не замявшись, – Лина окинула взглядом кухню; лицо ее было сложено для улыбки, для речи – заготовленной речи, понял Армстид. Но она ничего не сказала; заминка даже не была заминкой.

– Есть давай да поехали, – сказал Армстид. – Тебе еще порядком добираться. – Он наблюдал, как она ест – прилежно, с тем же чинным спокойствием, что и вчера за ужином, хотя сегодня оно подпорчено вежливой, даже слегка нарочитой умеренностью. Потом он протянул ей мешочек. Она приняла его с удовольствием, но без особого удивления.

– Ой, я ей очень благодарна, – сказала она. – Только они мне не понадобятся. Я уж почти добралась.

– Ты возьми все-таки. Заметила небось – если Марта что задумала, ей лучше не перечить.

– Я очень благодарна, – сказала Лина. Она спрятала деньги в свой узелок и надела чепец. Повозка ждала их. Когда они поехали по дорожке, она оглянулась на дом. – Я вам всем очень благодарна.

– Это она, – сказал Армстид. – Кажись, моих заслуг тут нету.

– Все равно я очень благодарна. Вы уж попрощайтесь с ней за меня. Я надеялась сама ее увидеть, да…

– Ага, – сказал Армстид. – Она там где-нибудь, наверно, по хозяйству. Я ей передам.

К лавке они подъехали рано утром, а там уже сидели на корточках мужчины, плевали через обглоданное каблуками крыльцо и смотрели, как она медленно, осторожно слезает с сиденья повозки, держа узелок и веер. И опять Армстид

не шевельнулся, чтобы ей помочь. Он сказал сверху:

– Это, стало быть, мисс Берч. Ей надо в Джефферсон. Если кто туда нынче едет и захватит ее, она будет очень благодарна.

В тяжелых пыльных башмаках она встала на землю. Посмотрела на него снизу – спокойно, безмятежно.

– Я вам очень благодарна.

– Ну да, – сказал Армстид. – Теперь, надо думать, ты до города доберешься. – Он смотрел на нее сверху. И, настороженно прислушиваясь к тому, как язык с бесконечной нерасторопностью подбирает слова, молча и быстро думал, едва успевая за мыслью Мужик. Всякий мужик. Сто случаев сделать добро упустит ради одного случая встрять, куда его встревать не просят. Прозевает какой угодно случай, проворонит любую возможность – богатства, почета, благого дела, а то и злодейства даже. Но случая встрять не упустит Потом язык нащупал слова, и он услышал их с не меньшим, наверное, изумлением, чем Лина: «Только я бы не очень надеялся… полагался на…» – думая Не слушает она. Если бы она могла услышать такие слова, не вылезала бы она сейчас из этой повозки, с пузом своим, да с узелком, да с веером, одна не тащилась бы в город, которого сроду не видела, не гналась бы за парнем, которого ей вовек не увидеть, которого и раз-то увидеть – оказалось больше, чем надо «…а если вертаться будешь этой дорогой, все равно когда – завтра ли, нынче вечером…»

– Теперь, я думаю, все наладится, – ответила она. – Мне сказали, он в Джефферсоне.

Он повернул повозку и поехал домой – сутулый, с выцветшими глазами; он сидел на продавленном сиденье и думал: «Бесполезный разговор. Чужим словам, своим ушам не поверит, как не верит тому, что люди думают вокруг нее вот уже… Четыре недели, – она сказала. Как сейчас не чует и не верит. Сидит там на верхней ступеньке, руки на коленях, а они вокруг на корточках и плюют мимо нее на дорогу. И не ждет ведь, пока ее спросят, сама рассказывает. По своей воле рассказывает про этого чертова парня, словно ей и нечего особенно скрывать или рассказывать – даже когда Джоди Варнер или кто из них скажет, что этого парня на деревообделочной в Джефферсоне зовут не Берч, а Банч. Это ее тоже не беспокоит. А ведь она, пожалуй, еще больше Марты знает –

как она вчера Марте сказала? Господь позаботится, чтобы все было по справедливости».

Двух вопросов оказалось достаточно. И, сидя на верхней ступеньке, узелок и веер держа на коленях, Лина снова рассказывает свою повесть, с дословными повторами упорной и прозрачной детской лжи, а мужчины в комбинезонах, сидя на корточках, тихо слушают ее.

– Этого парня фамилия Банч, – говорит Варнер. – Он уже лет семь работает на фабрике. Почем ты знаешь, что и Берч твой там?

Она смотрит на дорогу, туда, где Джефферсон. Смотрит спокойно, выжидательно, чуть отрешенно, но раздумья во взгляде нет.

– Наверное, там. На строгальной этой фабрике. Лукас всегда любил развлечения. Тихая жизнь не по нем. Потому-то ему и не нравилось на Доуновой лесопилке. Потому он… мы и решили сменить место – ради денег и развлечений.

– Ради денег и развлечений, – говорит Варнер. – Этот молодец не первый увильнул от дела, для которого родился на свет, и от тех, кто положился на него в этом деле, – ради денег и развлечений.

Но она, очевидно, не слушает. Она тихо сидит на верхней ступеньке и смотрит на пустую дорогу, за поворот, откуда она изволоком убегает к Джефферсону. Мужчины сидят на корточках у стены, смотрят на ее покойное, безмятежное лицо и думают – как думал Армстид и продолжает думать Варнер, – что на уме у нее мерзавец, который бросил ее в беде и которого она, наверно, больше не увидит – разве что полы его пиджака, развевающиеся от бега. «А может, она про эту, как ее, Слоунову, Боунову лесопилку думает, – говорит себе Варнер. – Ведь и дурочке, поди, не обязательно забираться так далеко, в Миссисипи, чтобы понять, что новое место немногим отличается и не намного лучше будет того места, откуда она сбежала. Даже если тут нет брата, которому не по нутру ее ночные гулянки», – думает. А я бы так же, как брат, поступил, и отец ее поступил бы так же. Матери у нее нет, потому что отцова кровь ненавидит с любовью и гордостью, а материнская – с ненавистью любит и сожительствует

А она об этом и не думает. Она думает о монетах, спрятанных в узелке у нее под руками. Она вспоминает завтрак и думает, что хоть сейчас может войти в лавку и купить сыру и печенья, а если пожелает – и сардин. У Армстида она выпила только чашку кофе с куском кукурузного хлеба – больше ничего, хотя Армстид ее угощал. «Вежливо кушала», – думает она, держа руки на узелке, где у нее спрятаны монеты, вспоминая эту единственную чашку кофе и деликатный ломтик диковинного хлеба; думает с горделивым спокойствием: «Как дама кушала. Как дама-путешественница. А теперь и сардин могу купить, если пожелаю».

И вот, хотя кажется, что она созерцает отлогий подъем дороги, а мужчины, сидя на корточках, поплевывая и поглядывая на нее, украдкой думают, что мысли ее заняты Лукасом и приближающимся событием, на самом деле она тихо противится извечным предостережениям земли, чьим промыслом, милостью и бережливым уставом она живет. На этот раз она не подчиняется. Она встает и, двигаясь осторожно, немного неуклюже, преодолевает артиллерийский рубеж мужских глаз и входит в лавку; приказчик – за нею следом. «Возьму и куплю, – думает она, уже попросив сыру и печенья, – возьму и куплю», – а вслух говорит:

– …И коробку сардин. – Она называет их «сырдинами». – Коробку за десять центов.

– За десять центов сардин не имеем, – отвечает приказчик. – Сардины пятнадцать центов. – Он тоже именует их «сырдинами».

Она раздумывает.

– А какие у вас есть банки за десять центов?

– С ваксой, больше никаких. Думается, такого вам не надо. Для питания то есть.

– Ну что ж, тогда за пятнадцать возьму. – Она развязывает узелок и мешочек. Распутать узлы удается не сразу. Но она терпеливо развязывает их, один за другим, платит, снова завязывает мешочек и узелок и забирает покупки. Когда она выходит на крыльцо, у ступенек стоит повозка. В ней сидит человек.

– Он едет в город, – говорят ей. – Он тебя подвезет.

Лицо ее оживляется – безмятежно, медленно, благодарно.

– Ой, спасибо вам большое, – говорит она.

Повозка едет медленно, равномерно, словно здесь, среди безлюдных солнечных просторов, не существует ни времени, ни спешки. От лавки Варнера до Джефферсона – двенадцать миль.

– Приедем туда к обеду? – спрашивает она.

Возница сплевывает.

– Может, и приедем.

Он как будто ни разу не взглянул на нее – даже когда она влезала в повозку. И она на него как будто не взглянула ни разу. Не смотрит и сейчас.

– Вы небось часто в Джефферсон ездите.

Он говорит:

– Случается.

Скрипит повозка. Неотступно маячат где-то на полпути леса и поля – застывшие и вместе с тем текучие, изменчивые, как мираж. Однако повозка оставляет их позади.

– Вы, верно, не знаете в Джефферсоне такого Лукаса Берча?

– Берча?

– Найти его там надеюсь. Он работает на строгальной фабрике.

– Нет, – отвечает возница. – Не припомню, чтобы знал такого. Да я, пожалуй, много кого не знаю в Джефферсоне. Может, он и там.

– Хорошо бы. А то путешествовать больно надоедает.

Возница на нее не глядит.

– Издалека ты приехала искать его?

– Из Алабамы. Путь далекий.

Он на нее не глядит. Спрашивает вскользь:

– Как же это тебя отец с матерью отпустили в таком виде?

– Нет у меня отца с матерью. Я с братом живу. Да так вот – решила идти, и все.

– Понятно. Он тебе написал, чтобы приезжала в Джефферсон?

Она не отвечает. Ему виден ее спокойный профиль под чепцом. Повозка едет – медленно, бесконечно. Под мерный шаг мулов, под скрип и стук колес тянутся рыжие мили. Солнце высоко над головой; тень чепца лежит на ее коленях. Она смотрит на солнце.

– Пора, пожалуй, покушать, – говорит она. Краем глаза он наблюдает, как она разворачивает сыр и печенье, открывает сардины, протягивает ему.

– Мне неохота, – говорит он.

– Милости прошу, покушайте со мной.

– Мне неохота. Ты давай кушай.

Она начинает есть – не спеша, с усердием, медленно и увлеченно слизывая с пальцев вкусное масло. Потом останавливается, не вдруг, но намертво; челюсть перестает жевать, обкусанное печенье в руке, лицо чуть опущено, глаза пусты, словно она прислушивается к чему-то очень далекому или совсем близкому – у себя внутри. Кровь отлила от лица, густой здоровый румянец исчез, и она сидит оцепенело, слушая и ощущая неумолимую древнюю землю –

но без тревоги и страха. «Двойня, не иначе», – говорит она себе беззвучно, не шевеля губами. Потом схватка утихает. Она опять ест. Повозка не остановилась; время не остановилось. Они въезжают на последний холм и видят дым.

– Джефферсон, – говорит возница.

– Подумать только, – говорит она. – Мы уже почти на месте, да?

На этот раз не слышит мужчина. Он смотрит вперед, через долину, на противоположную возвышенность, где стоит город. Следуя взглядом за его кнутовищем, она видит два столба дыма: один – от горящего угля, плотный, над высокой трубой, другой – высокий, желтый, над купой деревьев, должно быть, на отшибе.

– Дом горит, – говорит он. – Видишь?

Теперь уже она как будто не слушает, не слышит.

– Ну и ну, – говорит она, – всего четыре недели в дороге, а уже Джефферсон. Ну и ну. Носит же человека по свету.

2

Байрон Банч знает вот что. Это было в пятницу утром, года три назад. Работавшие в сарае у строгального станка подняли головы и увидели незнакомца, который стоял и смотрел на них. Они не знали, давно ли он там стоит. Похож он был на бродягу – и вместе с тем не похож. Ботинки у него были пыльные, брюки тоже в грязи. Но сшиты из приличной диагонали и отутюжены, а рубашка его, хотя и грязная, была белой рубашкой; на нем был галстук и соломенная шляпа, новая, с твердыми полями, заломленная нагло и зловеще над неподвижным лицом. Он не был похож на босяка в босяцком рубище, но бездомностью от него так и веяло, словно не было у него ни города, ни городка родного, ни улицы, ни камня, ни клочка земли. И сознание этого он нес, как знамя, с выражением независимым, жестоким, чуть ли не гордым.

«Словно, – говорили потом люди, – попал в полосу невезения и не намерен в ней задерживаться и плевать хотел на то, каким способом из нее выберется».
Он был молод. И Байрон видел, как он стоял и наблюдал за рабочими в пропотевших комбинезонах – с сигаретой в углу рта, с презрительным и мрачно-неподвижным лицом, чуть стянутым на сторону из-за сигареты. Потом он выплюнул сигарету, не дотронувшись до нее рукой, повернулся и пошел в контору, а люди в выгоревшей, перепачканной рабочей одежде смотрели ему в спину с сердитым недоумением. «Через станок бы его пропустить, – сказал мастер. – Глядишь, сняло бы с него эту мину».

Они не знали, кто он. Никто его раньше не видел. «Между прочим, довольно опасно появляться с такой миной на людях, – сказал другой, – ненароком сделает где-нибудь такую мину, а она кому-нибудь может не понравиться».
И они забыли о нем, во всяком случае, перестали говорить. Они разошлись по рабочим местам – среди жужжащих, скрипящих шкивов и приводных ремней. Но не прошло и десяти минут, как управляющий привел незнакомца обратно.

– Дайте ему работу, – сказал он мастеру. – Он говорит, что с лопатой, на худой конец, умеет обращаться. На опилки, что ли, поставьте.

Хотя остальные не прервали работы, в сарае не было человека, который не следил бы за чужаком в грязной городской одежде, за его мрачной невыносимой физиономией, исполненной безмолвного холодного презрения. Мастер посмотрел на него мельком, с такой же холодностью во взгляде.

– Что же он – так в этом наряде и будет?

– Это его дело, – ответил управляющий. – Я не костюм его нанимаю.

– Да мне все равно, в чем он ходит, – дело хозяйское, – сказал мастер. – Значит, так, любезный. Ступай туда вон, возьми лопату и помоги ребятам опилки откинуть.

Пришелец повернулся, не говоря ни слова. Остальные наблюдали, как он зашел за кучу опилок, появился оттуда с совковой лопатой и принялся за работу. Управляющий с мастером разговаривали в дверях. Управляющий ушел, мастер вернулся.

– Его зовут Кристмас, – сказал он.

– Как его зовут? – переспросил один.

– Кристмас.

– Иностранец, что ли?

– А ты слыхал когда, чтобы белого человека звали Кристмасом? – спросил мастер.

– Я вообще не слыхал, чтоб человека так называли, – сказал другой.

И вот тут, насколько помнит Байрон, ему впервые пришло в голову, что имя человека может быть не просто служебным звуком названия, но и каким-то предвестием того, что человек совершит, – если, конечно, другие сумеют вовремя разгадать его смысл. Ему казалось, что никто из них и не смотрел особенно на пришельца, покуда они не услышали его имя. Но когда услышали, впечатление было такое, словно имя намекает, чего от него ждать, словно он сам нес роковое предупреждение о себе – как цветок несет свой запах, как гремучая змея – гремушку. Только ни у кого из них не хватило ума понять намек. Они просто решили, что он иностранец, и весь остаток пятницы, наблюдая за тем, как он работает в своем галстуке, в своей соломенной шляпе и глаженых брюках, рассуждали между собой, что так, должно быть, работают у него на родине; некоторые, правда, сомневались и говорили: «Он переоденется. Завтра утром он не придет на работу в этом воскресном наряде».

Наступило субботнее утро. Последние, явившиеся к самому гудку, еще на ходу спрашивали: «Ну что он?.. Где?..» Остальные показывали. Новенький стоял один у кучи опилок. Рядом валялась его лопата, а он стоял во всем вчерашнем, в той же наглой шляпе, и курил сигарету. «Когда мы пришли, он был тут, – объясняли первые. – Вот так вот стоял, и все. Словно и спать не ложился».

Он ни с кем не заговаривал. И с ним никто не пытался заговорить. Но все помнили о его присутствии, об уверенной его спине (он работал очень неплохо, с сумрачным и сдержанным усердием) и руках. Наступил полдень. Все, кроме Байрона, пришли сегодня без обеда и начали собирать свои вещи, чтобы уйти

уже до понедельника. Байрон один отправился в насосную, где обычно ели, и сел. Вдруг что-то заставило его поднять глаза. Невдалеке, прислонясь к столбу, курил незнакомец. Байрон понял, что он пришел раньше, и не потрудился отойти. Или еще того хуже: вошел сюда нарочно, не обращая на Байрона внимания, как на столб. «Что же, не пошабашил еще?» – спросил Байрон.

Тот выпустил дым. Потом посмотрел на Байрона. Лицо у него было худое, ужасающе ровного пергаментного тона. Не кожа – само лицо, насквозь, словно голова была отформована с холодной, страшной правильностью и потом обожжена в раскаленной печи. «Сколько здесь платят сверхурочных?» – спросил он. И тут Байрон понял. Понял, почему тот работает в выходном костюме, почему вчера и сегодня приходил без обеда, почему не кончил в полдень, как все другие. Понял так же ясно, как если бы тот сам объяснил, что у него в кармане ни гроша, что вот уже два или три дня он, судя по всему, живет на одних сигаретах. И, не успев подумать, уже протягивал свой котелок – движением таким же непроизвольным, как сама мысль. Ибо прежде, чем оно завершилось, тот, не изменив своего ленивого презрительного выражения, повернул голову и взглянул на предложенный котелок сквозь стелющийся дым сигареты. «Не хочу. Убери свой корм».

Наступило утро понедельника, и догадка Байрона подтвердилась. Тот пришел в новом комбинезоне, с завтраком в пакете. Но в полдень он не ел с остальными, сидя на корточках в насосной, и на лице его было все то же выражение. «Пускай его, – сказал мастер. – Симс не костюм его нанимал – но и не морду ведь».

«И язык его Симс не нанимал», – подумал Байрон. По крайней мере так, видимо, полагал Кристмас – и так себя вел. Говорить ему было не с кем и не о чем, даже после полугода работы. Никто не знал, чем он занимается от смены до смены. Случалось, кто-нибудь из товарищей по работе встречал его после ужина на центральной площади, и Кристмас вел себя так, будто видел его впервые. Тут он ходил в новой шляпе и глаженых брюках, с сигаретой в углу рта, и дым сигареты змеился возле его лица. Никто не знал, где он живет, где ночует, и только время от времени кто-нибудь видел его на лесной тропинке у окраины города – как будто он жил в той стороне.

Сейчас Байрон знает не только это. Это он знал тогда – слышал, наблюдал, узнавая постепенно. А тогда никто из них не знал, где живет Кристмас, чем он на самом деле занимается – за ширмой, завесой своей черной работы

на фабрике. Может быть, никто бы так и не узнал, если бы не еще один новенький, Браун. А когда Браун все рассказал, человек десять сразу же признались, что третий год покупают у Кристмаса виски – встречаясь с ним ночью, один на один за старым, колониальных времен, плантаторским домом в двух милях от города, где жила в одиночестве старая дева по фамилии Берден. Но даже покупавшие виски не знали, что Кристмас живет в негритянской развалюхе на участке мисс Берден, и живет уже больше двух лет.

И вот однажды, с полгода назад, на фабрике появился еще один незнакомец, искавший работы, как некогда Кристмас. Он был тоже молодой, рослый, пришел уже в комбинезоне, который, судя по всему, довольно давно не снимал, и тоже имел вид путешествующего налегке. У него было живое, миловидно-безвольное лицо с белым шрамиком у рта, выглядевшее так, словно на него подолгу любовались в зеркало, и привычка вскидывать голову и косить через плечо, как мул, когда его догоняет машина, думал Байрон. Но это была не просто оглядка, опаска; она еще, думалось Байрону, отдавала самонадеянностью, нахальством, словно он без конца показывал и доказывал, что не боится никакой опасности, которая грозила или могла бы грозить ему сзади. И когда мастер, Муни, увидел нового работника, Байрон подумал, что мастеру пришла в голову та же мысль.

– Н-да, – сказал Муни, – тут уж Симс надежно ничего не нанял – когда брал этого молодца. Путевой пары штанов – и то не нанял.

– Вот-вот, – подхватил Байрон. – Он мне на ум приводит машину – она по улице едет, а в ней радио. И чего там радио в машине лопочет – не понять, и машина-то едет абы куда, а как поближе посмотришь – так она, оказывается, еще и пустая.

– Да, – сказал Муни. – Мне он на ум приводит жеребца. Не норовистого. А, как бы сказать, никчемного. На выгоне он – лучше некуда, а только к воротам с уздечкой подходишь – он уже еле на ногах стоит. Бегает вроде резво, а как запрягать – обязательно у него копыто больное.

– Однако кобылам он, видно, нравится, – заметил Байрон.

– Ну да, – отозвался Муни. – Он и кобыле небось не может основательно навредить.

Новый работник приступил к уборке опилок с Кристмасом. С большим шумом приступил, рассказывая всем и каждому, кто он и откуда, самим тоном и манерой изобличая свою суть – такой от них разило лживостью и морокой. Такой, что его рассказам о себе веришь не больше, чем имени, которым он назвался, думал Байрон. Не было никаких оснований сомневаться, что его зовут Джо Браун. Но, глядя на него, человек понимал, что в какую-то минуту жизни глупость у такого достигает предела и он решает сменить имя и меняет его на Джо Браун, восторгаясь и ликуя так, словно он первый его изобрел. Все дело в том, что имя ему вообще было ни к чему. Никого оно не интересовало – точно так же, думал Байрон, как никого (по крайней мере из тех, кто носит брюки) не интересовало, откуда он прибыл, куда он отбудет и надолго ли здесь задержится. Ибо откуда бы он ни прибыл, где бы ни обретался раньше, всякому было ясно, что живет он на подножном корму, как пешая саранча. И занимается этим, казалось, так давно, что весь раструсился, высыпался, и ничего от него не осталось, кроме прозрачной легковесной оболочки, мотающейся бесцельно и бездумно по воле ветра.

Впрочем, он и работал на свой манер. Его не хватало даже на то, думал Байрон, чтобы как следует, по-хитрому отлынивать. Желать этого хотя бы, – потому что искусство увиливать от дела дается лишь человеку недюжинному – как искусство в любом деле, даже в воровстве или убийстве. Нужно стремиться к определенной и ясной цели, добиваться ее. А он видел, что у Брауна и этого нет. Они узнали, как в первый же субботний вечер Браун просадил в кости весь свой недельный заработок. Байрон сказал Муни:

– Я удивляюсь. Я думал, он хоть кости умеет кидать как следует.

– Он-то? – сказал Муни. – С чего ты взял, будто он на какую-нибудь шкоду способен, если он не способен даже опилки кидать? Будто он может кого-нибудь обмануть в такой хитрой штуке, как кости, если даже с такой простой, как лопата, не может. – Потом он добавил: – Только, думаю, нет такого жалкого человека, чтобы не мог перещеголять другого хоть в одном каком-нибудь деле. А этот Кристмаса перещеголяет по крайней мере в безделье.

– Ну да, – сказал Байрон. – Я думаю, быть хорошим – самое легкое для лентяя.

– Ну, думаю, он бы живо испортился, – возразил Муни, – если бы кто его научил.

– Ну, учителя он себе найдет – не нынче, так завтра, – сказал Байрон.
Оба повернулись и посмотрели на кучу опилок, где трудились Браун и Кристмас, один – с угрюмым, злым усердием, другой – с холостой и суматошливой ретивостью, которая не могла бы обмануть даже самое себя.

– Да, пожалуй, что так, – согласился Муни. – Только если бы я дурное замышлял – упаси меня Бог от такого напарничка.

Как и Кристмас, Браун явился на работу в чем был. Но, в отличие от Кристмаса, он не сразу сменил одежду.

– Как-нибудь в субботу выиграет в кости столько, сколько нужно на новый костюм, и чтобы в кармане бренчало полдоллара мелочью, – сказал Муни. – И в понедельник мы его не увидим.

Браун, однако, продолжал ходить на работу – в том же комбинезоне и в той же рубахе, в которых явился в Джефферсон – так же проигрывать в кости недельный заработок по субботам – а может, выигрывать понемногу, приветствуя и то и другое одинаково бессмысленным гоготом, – балагурить и зубоскалить с теми же людьми, которые, по всей видимости, регулярно его обирали. Как-то раз прошел слух, что он выиграл шестьдесят долларов. «Ну, можете с ним попрощаться», – сказал кто-то.

– Не знаю, – сказал Муни. – Шестьдесят долларов – не та цифра. Вот если бы десять долларов или, наоборот, пятьсот, тогда, я думаю, ты был бы прав. А шестьдесят – нет. Теперь он как раз и решит, что хорошо здесь устроился – если цапнул столько, сколько за неделю получает.

И в понедельник он действительно вышел на работу, в комбинезоне; их обоих, Брауна и Кристмаса, увидели возле кучи опилок. За парой наблюдали с того дня, как появился Браун. Кристмас всаживал лопату в опилки неторопливо и размеренно, с силой, словно крошил зарытую змею («Или человека», – сказал Муни), а Браун, бывало, стоит, опершись на лопату, и, наверно, рассказывает ему какую-то историю, анекдот. Потому что немного погодя он разражается смехом, гогочет, закинув голову, а другой продолжает работать все с тем же молчаливым, неубывающим остервенением. Затем Браун тоже берется за дело,

и опять какое-то время работает не медленнее Кристмаса, но лопата его, летая по убывающей дуге, захватывает все меньше, меньше и наконец уже совсем не задевает опилок. Тогда он снова опирается на нее и, видимо, досказывает историю – досказывает человеку, который, кажется, и голоса его не слышит. Словно этот – в миле от него или говорит на непонятном языке, думал Байрон. Случалось, субботним вечером их видели в городе вместе: опрятного Кристмаса – в неизменной и строгой диагонали с белой рубашкой, в соломенной шляпе, и Брауна – в новом костюме (бежевом в красную клетку, под ним – цветная рубашка, на голове соломенная шляпа, как у Кристмаса, но с цветной лентой), и Браун болтает, гогочет, и голос его разносится по всей площади и возвращается обратно эхом, вроде того как посторонний звук в церкви, кажется, идет отовсюду одновременно. Словно хочет всем показать, какие они с Кристмасом дружки, думал Байрон. А потом Кристмас поворачивался, и как бы ни было мало скопление народу, привлеченного пустым звоном Браунова голоса, бесстрастно и хмуро выходил вон, а Браун шел за ним следом, продолжая болтать и гоготать. И каждый раз остальные рабочие говорили: «Ну, в понедельник он на работу не вернется». Но каждый понедельник он возвращался. Первым бросил Кристмас.

Он бросил работу в субботу вечером, без предупреждения, после трех без малого лет. И сообщил им об уходе Кристмаса не кто иной, как Браун. Среди рабочих были люди разного возраста, были семейные, были холостяки, образ жизни они вели самый пестрый, но в понедельник утром все выходили на работу степенно, почти торжественно. Были среди них молодые, и по субботам они пили, играли на деньги, случалось, даже ездили в Мемфис. Но в понедельник утром они выходили на работу серьезные и тихие, в чистых комбинезонах и чистых рубашках, тихо дожидались гудка и затем тихо приступали к работе, словно что-то сохранялось еще в атмосфере от воскресенья, утверждавшее как догмат, что человеку, как бы он этот праздник ни провел, надлежит и подобает являться в понедельник на работу чистым и тихим.

Вот что они всегда отмечали в Брауне. В понедельник он, как правило, выходил в той же грязной одежде, что и на прошлой неделе, и в черной щетине, не тронутой бритвой. И бывал он еще более шумным, чем всегда, кричал и выкидывал штуки впору десятилетнему. Их, серьезных, это коробило. Для них это было все равно как если бы он явился голым или пьяным. Поэтому и получилось, что именно он оповестил их в понедельник об уходе Кристмаса. Он опоздал, но не в этом дело. Он был небрит, но дело и не в этом. Он был тихий. Они не сразу и заметили, что он здесь – он, которого в другое время половина из них уже ругала бы последними словами, и кое-кто от души.

Он появился с гудком, пошел прямо к куче опилок и принялся за работу, не сказав никому ни слова, хотя кто-то с ним даже заговорил. Тут-то они и увидели, что он один, что его напарника Кристмаса нет. Когда подошел мастер, кто-то сказал:

– Ну, я вижу, одним заместителем истопника у тебя стало меньше.

Муни посмотрел туда, где Браун разгребал опилки так, словно это были яйца. Он плюнул.

– Да. Чересчур быстро разбогател. Не прельстишь его такой работенкой.

– Разбогател? – переспросил другой.

– Кто-то из них – да, – сказал Муни, все еще наблюдая за Брауном. – Вчера я их видел в новой машине. Он, – Муни кивнул на Брауна, – сидел за рулем. Этому я не удивляюсь. Я удивляюсь, что и один-то вышел сегодня на работу.

– Ну, по нынешним временам, – сказал тот, – Симсу нетрудно будет найти ему замену.

– Это нетрудно было бы в любое время, – сказал Муни.

– Да он словно бы неплохо управлялся.

– А-а, – сказал Муни. – Понял. Ты про Кристмаса говоришь.

– А ты про кого? Браун тоже сказал, что уходит?

– Ты думал, он тут копать будет, пока другой катается по городу на новой машине?

– А-а. – Тот тоже посмотрел на Брауна. – Хотел бы я знать, где это они раздобыли машину.

– А я – нет, – сказал Муни. – Он в обед уйдет или до шести дотерпит – вот что я хотел бы знать.

– А что? – сказал Байрон. – Если бы я тут накопил на новую машину, я бы тоже уволился.

Несколько человек посмотрели на Байрона. Они слегка улыбнулись.

– Накопили-то они не тут, – сказал один. Байрон посмотрел на него.

– Байрон чересчур уж, видно, дурного сторонится – потому и от жизни отстает, – сказал другой. Они посмотрели на Байрона. – Браун, можно сказать, слуга народа. Кристмас заставлял их ночью тащиться в лес, за имение мисс Берден, а Браун им сам теперь таскает, прямо в город. Говорят, если знаешь пароль, то в субботу вечером в переулке можешь получить пол-литра прямо у него из-за пазухи.

– А пароль какой? – сказал еще кто-то. – Доллар без четверти?

Байрон смотрел то на одного, то на другого.

– Правда? Этим они занимаются?

– Браун этим занимается. Кристмас – не знаю. За него не поручусь. Только Браун от Кристмаса далеко не отстанет. Как говорится, свой своего ищет.

– Верно, – сказал другой. – Занимается этим Кристмас или нет, нам, я думаю, не узнать. Он, как Браун, штаны спустивши, при народе гулять не будет.

– А ему и незачем, – сказал Муни, глядя на Брауна.

И Муни был прав. До полудня они наблюдали за Брауном, пребывавшим в одиночестве у опилок. Потом раздался гудок, они взяли свои котелки, уселись на корточки в насосном сарае и стали есть. Вошел Браун с хмурым лицом, насупленный и надутый, как ребенок, и сел с ними на корточки, свесив руки между колен. Сегодня обеда у него не было.

– А ты чего, есть не будешь? – спросил кто-то.

– Холодные помои из сального ведерка? – сказал Браун. – С утра до вечера ишачить, как паршивому негру, и перерыв час – чтобы жрать помои из жестяного ведерка.

– Ну, может, кто и работает, как негры работают у него на родине, – сказал Муни. – Только негр бы тут полдня не продержался, если бы работал, как иные белые.

Но Браун будто не слышал, не слушал, хмуро сидя на корточках и свесив руки. Он, казалось, никого не слушает, кроме себя – себя слушает.

– Дурак. Только дурак на это пойдет.

– Тебя к лопате не привязывали, – сказал Муни.

– Правильно, черт бы ее побрал, – ответил Браун.

Раздался гудок. Рабочие разошлись по местам. Они наблюдали, как Браун трудится у опилок. Побросав немного, он начинал медлить, двигался все медленнее и медленнее, пока совсем не замирал, ухватив лопату как хлыст, и тогда они видели, что он разговаривает сам с собой.

– Ну да, ему там больше не с кем потолковать, – заметил кто-то.

– Не в этом дело, – откликнулся Муни. – Он еще не совсем себя уломал. Не совсем уговорил себя.

– В чем?

– В том, что он еще дурее, чем я думал, – пояснил Муни.

На другое утро он не вышел.

– Теперь его адрес будет парикмахерская, – сказал один.

– Или проулок за парикмахерской, – сказал другой.

– Я думаю, мы еще разок его увидим, – сказал Муни. – Он придет получить за вчерашний день.

И точно. Часов в одиннадцать он явился. На нем был новый костюм и соломенная шляпа, и, остановившись у сарая, он стоял и смотрел на рабочих, как Кристмас три года назад – словно сами былые позы учителя нечаянно воспроизводились послушными мышцами ученика, не в меру переимчивого и памятливого. Но если от учителя веяло угрюмым покоем – и гибелью, как от змеи, то у Брауна получалась только расхлябанность и пустое чванство.

– Навались, рабочая скотинка! – сказал он веселым, громким, зубастым голосом.

Муни посмотрел на Брауна. Тут зубы Брауна попрятались.

– Ты, случаем, не меня так назвал? А? – спросил Муни.

С подвижным лицом Брауна произошла одна из тех мгновенных перемен, к которым все давно привыкли. Словно оно было такое расхлябанное, на живую нитку сметанное, что даже Брауну ничего не стоило его изменить, – думал Байрон.

– Я не с тобой говорю, – сказал Браун.

– А-а, понял. – Голос у Муни был мирный, ласковый. – Это ты остальных назвал скотиной.

Тут же вмешался еще один:

– Так ты это про меня?

– Я сам с собой разговаривал, – сказал Браун.

– Ну вот, раз в жизни ты сказал святую правду, – согласился Муни. – То есть половину. Хочешь, подойду и шепну тебе на ушко другую половину?

Больше на фабрике его не видели, но Байрон знает (и вспоминает теперь), как колесил по городу – бесцельно, праздно, непрестанно – новый автомобиль (с помятыми уже крыльями) и Браун, развалясь за баранкой, без особого успеха пытался вызвать зависть своим бесшабашным и праздным видом. Иногда с ним сидел Кристмас, но нечасто. И теперь уже не секрет, чем они занимаются. Среди молодых людей и даже подростков стало притчей во языцех, что виски у Брауна можно купить с ходу, и город просто ждет, когда он попадется – когда он вытащит из-под полы дождевика бутылку и станет продавать агенту в штатском. До сих пор не известно наверняка, связан ли с этим Кристмас, но никто не поверит, будто у самого Брауна хватит ума нажиться даже на бутлегерстве, и вдобавок кое-кому известно, что Браун живет вместе с Кристмасом в хибарке на участке Берденов. Но даже этим не известно, знает ли о своих жильцах мисс Берден – а если бы и было известно, ей бы все равно не сказали. Она живет одна в большом доме – женщина средних лет. Живет там с рождения, но все еще пришлая, чужая: ее родители приехали с Севера в Реконструкцию. Северянка, негритянская доброхотка – до сих пор по городу ходят слухи о ее странных отношениях с неграми, городскими и иногородними, хотя прошло уже шестьдесят лет с тех пор, как ее дед и брат убиты на площади бывшим рабовладельцем в споре об участии негров в местных выборах. Но и поныне что-то тяготеет над ней и имением – что-то темное, нездешнее, грозное, хотя она всего только женщина, всего только отпрыск тех, кого предки города не зря (по крайней мере на их взгляд) страшились и ненавидели. Но тут оно: отпрыски тех и других, в их связях с вражьими тенями, и рубежом меж них – видение давно пролитой крови, ужас, гнев, боязнь.

Если и была в его жизни любовь, то всякий скажет, что Байрон Банч про нее забыл. А скорее она (любовь) забыла про него – про этого малорослого человека, которому уже не вернуть своих тридцати, который в течение семи лет по шесть дней в неделю проводит на деревообделочной фабрике, подавая доски на станок. Вторую половину субботы он тоже проводит там, один, в то время как остальные, надев выходные костюмы и галстуки, предаются в центре города пустому, тяжкому, зудящему досугу рабочего люда.

Вторую половину субботы, поскольку одному работать на станке нельзя, он грузит готовые доски в товарные вагоны и сам ведет счет времени, – до последней секунды, до воображаемого гудка. Остальные рабочие, весь город – вернее, те, кто помнит или думает о нем, – считают, что он делает это ради сверхурочных. Возможно, причина – эта. Человек так мало знает о своих

ближних. В его глазах все мужчины – или женщины – действуют из побуждений, которые двигали бы им самим, будь он настолько безумен, чтобы поступать как другой мужчина – или женщина. По сути, только один человек в городе мог бы более или менее уверенно говорить о Банче, но городу о его сношениях с Банчем неизвестно, ибо они встречаются и беседуют только по ночам. Фамилия этого человека Хайтауэр. Двадцать пять лет назад он был священником одной из главных церквей, если не самой главной. Он один знает, куда отправляется Банч каждый субботний вечер, когда прогудит воображаемый гудок (или когда громадные серебряные часы Банча покажут, что он прогудел). Миссис Бирд, в чьем пансиончике живет Банч, знает только, что каждую субботу в начале седьмого Банч приходит с работы, моется, надевает дешевый и ношеный диагоналевый костюм, ужинает, седлает мула, которого держит за домом в сарае, собственноручно им отремонтированном и перекрытом, и верхом на муле отбывает. Куда он ездит, она не знает. Знает только священник Хайтауэр – что он уезжает за тридцать миль от города и проводит воскресенье, руководя хором в сельской церкви, – служба длится весь день. Потом, около полуночи, он седлает мула и едет обратно в Джефферсон, ровной, на всю ночь заведенной трусцой. А в понедельник утром, когда загудит гудок, он уже на месте у станка, в чистой рубашке и комбинезоне. Миссис Бирд знает только, что каждую неделю с субботнего ужина до завтрака в понедельник его комната и стойло мула пустуют. Одному Хайтауэру известно, куда он ездит и что там делает, потому что два-три раза в неделю, поздним вечером, Банч навещает Хайтауэра в его домишке, где бывший священник живет один и, как горожане говорят, в позоре, – в домишке некрашеном, тесном, уединенном, темном, пропахшем мужской затхлостью. Тут, в кабинете священника, они и сидят, беседуя тихо: щуплый, неприметный человек, который даже не подозревает, что он – загадка для своих товарищей по работе, и пятидесятилетний изгой, отвергнутый своей церковью.

И вот Байрон влюбляется. Влюбляется вопреки всем заповедям своего ревнивого и строгого деревенского воспитания, требующего, чтобы предмет любви был физически непочат. Это происходит в субботу за полдень, когда он один на фабрике. В двух милях все еще горит дом, и желтый дым стоит над горизонтом прямо, как памятник. Они увидели, как он взметнулся над деревьями, еще до полуденного гудка, до того, как разошлись.

– Ну, сегодня-то Байрон уйдет, – говорили они. – Бесплатно-то пожар посмотреть.

– Пожар большой, – сказал один. – Что бы это могло гореть? Вроде и не припомню там ничего такого большого, чтобы столько дыму давало – кроме дома Берденов.

– Может, это он и есть, – сказал другой. – Отец мой все вспоминает, как у нас тут говорили лет пятьдесят назад: спалить его надо, да с человечьим жирком заодно, чтоб занялся побойчее.

– Уж не папаша ли твой пробрался туда с огоньком? – сказал третий. Все засмеялись. Потом снова принялись за работу, дожидаясь гудка, то и дело отрываясь, чтобы посмотреть на дым. Немного погодя подъехал грузовик с бревнами. Они спросили у шофера, который ехал через город.

– Берден, – сказал шофер. – Ну да. Она горит. В городе говорили, что и шериф туда отправился.

– Небось и Уатту Кеннеди охота поглядеть на пожар, даром что бляху нацеплять приходится.

– А если он кого-то разыскивает, чтобы арестовать, – сказал шофер, – то вид у города такой, что он, похоже, правильно выбрал место.

Раздался полуденный гудок. Все разошлись. Байрон положил перед собой серебряные часы и сел обедать. Когда они показали час, он приступил к работе. Постелив для мягкости на плечо дерюжку и взвалив на нее стопу клепок, которую, казалось бы, ему ни за что не поднять и не унести, размеренно и неутомимо совершал он свои рейсы от склада к вагону; он был один на складе, когда в дверь за его спиной вошла Лина Гроув – безмятежно улыбаясь в ожидании встречи, губы уже сложив, чтобы произнести имя. Услышав ее, он оборачивается и видит, что улыбка ее гаснет, как волнение в роднике, куда уронили камешек.

– Вы – не он, – говорит она с серьезным детским изумлением за гаснущей улыбкой.

– Да, – говорит Байрон. Он умолкает, полуобернувшись, с грузом на плече. – Похоже, что не он. А он – кто?

– Лукас Берч. Мне сказали…

– Лукас Берч?

– Мне сказали, что я его тут найду. – В голосе ее какая-то безмятежная недоверчивость, и она смотрит на него не мигая, словно думает, что он пытается ее провести. – Когда я к городу поближе подошла, его все Банчем стали звать, а не Берчем. Я думала, они говорят неправильно. Или я расслышала неправильно.

– Нет, – отвечает он. – Так оно и есть. Банч. Байрон Банч. – Продолжая держать на плече клепки, он смотрит на нее – на тяжелое тело, на раздавшиеся бедра, на тяжелые мужские башмаки, покрытые рыжей пылью. – А вы – миссис Берч?

Она отвечает не сразу. Она стоит в дверном проеме и смотрит на него пристально, но без тревоги – все тем же безмятежным, слегка растерянным, слегка недоверчивым взглядом. Глаза у нее совсем голубые. Но тенью в них – мысль, что он пытается ее обмануть.

– Мне по дороге говорили, что Лукас работает на строгальной фабрике в Джефферсоне. Много людей говорило. А как в Джефферсон приехала, мне сказали, где эта фабрика, и я спрашиваю про Лукаса Берча, а мне говорят: «Может, тебе Банча?» – ну, я и подумала, что они просто имя перепутали, а это он и есть. Хотя они сказали, что этот, про кого они говорят, лицом не смуглый. Неужто и вы скажете, что не знаете тут Лукаса Берча?

Байрон опускает свою ношу аккуратной стопой, чтобы поднять потом все разом.

– Не знаю. Лукаса Берча у нас нету. Я всех знаю, кто тут работает. Может быть, он в городе где работает. Или на другой фабрике.

– А есть тут другая строгальная фабрика?

– Нету. Лесопилки, правда, есть – их тут порядком.

Она наблюдает за ним.

– По дороге мне говорили, что он на строгальной фабрике работает.

– Я тут такого не знаю, – говорит Байрон. – И припомнить не могу никакого другого Берча, кроме меня, а меня зовут Банчем.

Она продолжает смотреть на него прежним взглядом, в котором не столько беспокойства за будущее, сколько недоверия к настоящему. Потом она вздыхает. Это даже не вздох, а глубокий спокойный вдох.

– Так, – говорит она. Обернувшись, она окидывает взглядом распиленные доски, штабеля брусьев. – Присяду-ка я, пожалуй. А то уж больно устаешь – по твердым мостовым ходить. Кажется, пока дошла сюда из города, больше устала, чем за всю дорогу из Алабамы. – Она направляется к низкому штабелю реек.

– Подождите, – говорит Байрон. Бросившись к ней, он сдергивает с плеча дерюжку. Женщина, уже подогнув колени, замирает, и Байрон стелит дерюжку на рейки. – Мягче будет.

– Спасибо вам большое. – Она садится.

– Так-то оно помягче, – говорит Байрон. Он вынимает из кармана серебряные часы, смотрит на них, потом садится на другой край штабеля. – Пять минут, пожалуй, будет в самый раз.

– Отдыхать пять минут? – спрашивает она.

– Пять минут как вы пришли. Я с тех пор и отдыхаю. По субботним вечерам я сам себе замечаю время, – объясняет он.

– И каждый раз, как присесть на минутку, тоже замечаете? Откуда они узнают, что вы присаживались? Минутой больше, минутой меньше – велика ли разница?

– Я так думаю, за сидение мне не платят, – говорит он. – Значит, вы из Алабамы.

Она рассказывает ему, – теперь его очередь, – грузно сидя на дерюжке, со спокойным, ясным лицом, за которым он так же спокойно наблюдает, – рассказывает больше, чем ей кажется, – как рассказывала уже многим

незнакомым людям, среди которых четыре недели совершается ее путь с мирной неторопливостью смены времен года. И Байрон – в свою очередь – рисует себе историю молодой женщины, обманутой и брошенной и даже не сознающей, что она брошена, так и не успевшей сменить свою фамилию на Берч.

– Нет, видно, я его не знаю, – говорит он наконец. – Да и нет тут сейчас никого, кроме меня. Все остальные – там, наверное, на пожаре. – Он показывает на желтый столб дыма, стоящий в безветрии высоко над деревьями.

– Мы его видели, как к городу подъезжали, – говорит она. – Пожар-то уж очень большой.

– Да и дом-то большой. Он старинный. Там дама одна живет, больше никого. Думаю, кое-кто в городе будет говорить, что это Бог ее наказал – даже теперь будут. Она северянка. Ее родня приехала сюда в Реконструкцию – негров баламутить. Двоих за это и убили. Говорят, она и сейчас вожжается с неграми. Навещает их, когда заболеют, все равно как белых. Кухарку не держит – не хочет, чтобы негры прислуживали. Говорят, у ней такое мнение, будто негр белому ровня. Поэтому никто к ней и не ходит. Кроме одного. – Она наблюдает за ним, слушает. Сейчас он на нее не смотрит, избегает ее взгляда. – Или, может, двоих – так я слышал. Хоть бы они туда поспели, помогли ей мебель вынести. Может, поспели.

– Кто поспел?

– Да тут, два парня, два Джо, они где-то в той стороне живут. Джо Кристмас и Джо Браун.

– Джо Кристмас? Чудное имя.

– Он и сам чудной. – И снова он избегает ее заинтересованного взгляда. – Товарищ его – тоже фрукт. Браун. Тоже тут работал. Но уволились – оба. Потеря, однако, скажу, небольшая.

Сидя на дерюжке, женщина слушает спокойно, с интересом. Можно подумать, что это выходной день и пара, одетая в выходное, сидит на плетеных стульях перед деревенским домом, на гладкой, патиной подернутой земле.

– И товарища его зовут Джо?

– Да. Джо Браун. Но, может быть, это его настоящее имя. Потому что как подумаешь о человеке по имени Джо Браун, сразу представляешь такого пустомелю, который вечно смеется и громко разговаривает. Так что я думаю, имя настоящее, хотя Джо Браун – как-то чересчур уж скоро да просто для настоящего имени. Но, думаю, тут оно как раз настоящее. Потому что если бы ему выработку с болтовни считали, он давно бы был хозяином этой фабрики. Хотя людям он как будто нравится. По крайней мере с Кристмасом ладит.

Она наблюдает за ним. Лицо ее по-прежнему ясно, но теперь очень серьезно – взгляд очень серьезен и очень внимателен.

– А чем они с ним занимаются?

– Да ничем таким, думаю, чего бы им не полагалось. По крайней мере за руку их еще не поймали. Браун здесь вроде как работал – в свободное время, когда не смеялся и шутки над людьми не шутил. А Кристмас уволился. Они где-то там живут, там вон, где дом горит. Слышал я, чем они занимаются для заработка. Но это, во-первых, не мое дело. А во-вторых, люди друг про друга все больше неправду говорят – вот что главное. И, надо думать, я других не лучше.

Она наблюдает за ним. Она даже не мигает.

– Так он говорит, что его зовут Брауном. – Может быть, это и вопрос, но ответа она не дожидается. – А чем, вы слышали, они занимаются?

– Возводить напраслину на людей не хотел бы. Зря я, видно, так разговорился. Вот уж правда, смотрю, – стоит человеку бросить работу, тут же нечистый его попутает.

– Что вы слышали? – спрашивает она. Она не пошевелилась. Голос ее спокоен, но Байрон уже влюбился, хотя еще не знает этого. Он не смотрит на нее, чувствуя ее серьезный пристальный взгляд на своем лице, на губах.

– Толкуют здесь, будто они виски продают. Прячут его вон там, где дом горит. Говорят еще, как-то в субботу вечером Браун был в городе пьяный и чуть не сболтнул, про что болтать не следовало – как они с Кристмасом чего-то там ночью в Мемфисе или на темной дороге возле Мемфиса и чего-то там с пистолетом… Не то с двумя пистолетами. Но тут же Кристмас вмешался, заткнул ему рот и увел. Словом, что-то там было такое, про что Кристмас не хотел трезвонить – да и у Брауна хватило бы ума не растрезвонить, если бы не напился. Так я слышал. Сам я при этом не был. – Подняв голову, он вдруг сознает, что опустил глаза раньше, чем встретился с ней взглядом. Он словно предугадывает уже что-то безвозвратное, непоправимое – он, веривший, что здесь, на фабрике, в субботу после отбоя, когда он один, случая причинить другому зло или вред у него не будет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/uilyam-folkner/svet-v-avguste

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити